**СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА БАНЬКОВСКАЯ**

**Чужаки и границы:**

**Исследования по социологии маргинальности.**

**2022**

**Предисловие редактора.**

В последние годы у нас распространилось *медленное чтение*, совместное, неторопливое изучение классических трудов. Это очень хорошее, хотя и ограниченное по кругу читателей и кругу источников занятие. Конечно, любое чтение источников, всего, что написано тщательно и придумано для обдумывания, должно быть медленным. Беда лишь в том, что текстов, которыми надо заняться ученому, становится все больше, а времени на них остается все меньше. Огромные резюме, предваряющие теперь статьи в научных журналах, словно бы приглашают ограничиться сокращенным изложением материала; необыкновенно популярными стали рецензии; обзоры, сетевые отклики на новые книги читаются едва ли не более охотно, чем сами книги: все для того, чтобы усвоение нового было скорым, пусть и поверхностным. Социологически это объяснимо: говоря словами Германа Люббе, мы столкнулись с феноменом сокращенного пребывания в настоящем, и чтение *по работе* относится как раз к тому настоящему, которое больше всего подвержено эрозии скоротечного пребывания. Почти полвека назад Юрий Николаевич Давыдов, один из самых вдумчивых, неторопливых читателей своего времени, жаловался на сравнительно новую в те годы моду практиковать скорочтение. Мы счастливее, чем он, мы все больше практикуем медленное чтение хотя бы немногих, классических работ. Куда реже мы готовы уделить такое же внимание современнику, живущему рядом с нами и пишущему на одном с нами языке. Тем не менее, бывают и случаи особого рода; к ним относится эта книга, небольшой объем которой не должен вводить читателя в заблуждение. Она потребует много времени и внимания, и только медленное чтение оправдает затраченные усилия.

Внимание здесь необходимо потому, что автор соединяет в одной публикации скорее не главы, а несколько мини-монографий, очень концентрированных текстов, которые, однако, не герметичны, но перекликаются между собой. Следить за этой перекличкой не так легко. Книга Светланы Баньковской устроена сложно, темы и персоны, казалось бы, исчерпывающим образом рассмотренные в одной главе, снова всплывают в другой, но уже в ином освещении и с иной теоретической разработкой. Автор не предъявляет нам теорию в чистом виде, но идет признанным в социологии со времени Парсонса путем исторической реконструкции аргументов, которые можно найти в классических текстах. Здесь оправдывает себя перечитывание уже освоенного фрагмента, а также более свободное обращение с материалом, не обязательно ограниченное последовательными переходами между разными частями книги, как если бы навигация по ней велась в электронной форме со всеми закладками и ссылками.

Все эти вводные замечания носят характер формальный и методический. К ним я бы хотел добавить еще несколько более содержательных аргументов. Не претендуя на то, что можно было бы назвать правильной и единственной интерпретацией, – в конце концов, книга говорит сама за себя, говорит с каждым читателем напрямую и без посредников – я предлагаю ниже одну из возможных версий, которая оправдана лишь долгим и медленным чтением.

Научный жанр этой книги – философская социология. Не философия в точном смысле (или в одном из принятых смыслов) этого слова, а именно социология, которая исторически формировалась в лоне разных дисциплин, но, отталкиваясь от философии и даже прямо объявляя, как это сделал Огюст Конт, метафизику устаревшей, все снова и снова испытывала потребность вернуться к философской проблематике. Несмотря на уверенность некоторых выдающихся социологов в том, будто им удалось разрешить философские вопросы, с которыми сама философия не справилась (таков аргумент всего социологизма в разных изводах), успех социологического предприятия оказывался часто довольно спорным. Философия исторически испытала (неоднократно и в разных аспектах) большое влияние социологии, но, в общем, отказалась искать в ней основной способ спасения от проблем и решения главных вопросов. Однако для самой социологии такое обращение к философской проблематике оказалось более чем продуктивным и долгие годы, несмотря на всю критику социологических теорий как, собственно, философских, позволяло серьезно обогащать науку понятиями, аргументами и постановками вопроса. К сожалению, этого нельзя сказать о социологии современной. Не говоря уже о ее теоретическом упадке, она в работе с привычными понятиями во многом полагается на философски не проясненные, остающиеся в области обыденных представлений интуиции, отказывается не то что от решения, но и от постановки вопросов, выходящих за пределы не только ближайших прикладных задач, но и за границы всякой возможной теории.

Одной из таких тематических областей, где сближаются, точнее, должны были бы сближаться философия с социологией, является *социальная онтология*, одна из самых сложных для постижения областей знания. Она имеет парадоксальный характер, потому что социальность нашего пребывания в этом мире («быть человеком среди людей», говорила Ханна Арендт) интуитивно опознается даже в ситуациях крайнего одиночества[[1]](#footnote-1); но вместе с тем как таковая социальность интуитивно непостижима в ее полноте. Для ученого не всегда ясна невозможность выхода за пределы частного опыта к чему-то большему, нежели его ограниченные свидетельства. Ни один из феноменов и никакая совокупность феноменов социальности не позволяет судить о ней в целом как об условии возможности бытия и познания социальных фактов. Воспитанные на Канте социологи-классики во всяком случае постарались избежать исследования тех вопросов, которые грозили обрушить новое предприятие старыми антиномиями, тогда как выросшее на Марксе поколение, представляющее так называемую критическую теорию, стремилось *подозревать* за аргументами скрытые от публики мотивы и, в более общем плане, *контролировать*, не получилось ли так, что некоторая систематически производимая самим бытием социального видимость интуитивно принимается в позитивном исследовании как нечто несомненное для ученого-наблюдателя. Если позитивист уверен, что люди, не просвещенные наукой, профаны, не замечающие механизмов социальной жизни, то для критической социальной мысли важно показать, что не только за наивно наблюдаемым, но и научно постигаемым порядком кроется механизм, обусловливающий появление на свет не подлинных, скрывающих его устройство явлений[[2]](#footnote-2). Ей противостоит феноменологический взгляд на производство порядка, представление о том, что сами люди вполне компетентны: они знают, что делают; это позволяет им устраивать социальный порядок *между собой* и перестраивать его по мере нужды. Такому *участвующему* постижению в особенности способствует этнометодология, хотя и не она одна. Здесь легко совершить ошибку, причем как философского, так и вполне прикладного свойства.

Основатель этнометодологии Гарольд Гарфинкель и его последователи критиковали Толкота Парсонса, а вместе с ним и всю «мировую социальную науку», за отказ видеть порядок в самой конкретике социальной жизни. Гарфинкель говорил, что, согласно Парсонсу, порядок позволяют обнаружить только теории как специальные инструменты описания и большие коллекции данных, которые мы анализируем при помощи аналитического инструментария. Если ученые будут исходить из того, что в социальной жизни взаимодействуют люди, у каждого из которых есть свои мотивы и цели, то им не избежать ловушки, которую Парсонс когда-то назвал «проблемой Гоббса»: на уровне повседневной конкретики есть только столкновения, преследование собственных интересов, а порядка нет. Этнометодология, считал Гарфинкель, смотрит на дело иначе: если вы согласитесь, что исследовать надо не личность и ее мотивы, а ситуации, в которые включены действующие люди, решающие свои задачи, тогда «исследователи могут сконцентрироваться на том, как действующим удается производить друг для друга опознаваемые и упорядоченные практики в каждой и любой отдельной ситуации»[[3]](#footnote-3).

Светлана Баньковская много занималась этнометодологией как историк мысли, и это позволило ей сформулировать свою позицию, принимая во внимание не только ту реконструкцию проблемы порядка в социологии, которую предлагает Гарфинкель, но и ее решение, принятое им самим и его сторонниками. Обращаясь к социальной онтологии, она направляет наше внимание на беспорядок, и ее решение надо понимать как принципиальное, с далеко идущими последствиями. Нам не предлагают вернуться к тому мейнстриму, который находит порядок в теориях и результатах анализа и беспорядок в самой конкретике социальной жизни. Дело здесь в другом. Беспорядок обнаруживается в самом бытии социального буквально на том же самом месте или в тех местах, где другие авторы видят производство порядка. Социальная онтология, набросок которой содержится в первой главе этой книги, представляет собой движение к бытию осциллирующего между порядком и беспорядком участника социальной жизни и его представление как Другого. В этом существо дела. «Другой как понятие элементарной социальной онтологии» – это в первую очередь демонстрация того, что выходит за пределы не только научных классификаций, но и упорядочивающих усилий самих участников социальной жизни, то принципиально иное и ускользающее, которое есть и условие возможности объединения и солидаризации, и тот самый исток хрупкости, уязвимости всего, что совершается между людьми.

Удивительным образом эта в высшей степени абстрактная и, казалось бы, очень далекая от актуальной проблематики социального знания и практики концепция внезапно перекликается с тем, чем озабочены современные социологи куда как менее теоретически ориентированные. Это нам тоже надо иметь в виду. На «молекулярном» уровне Другой и «такой же» взаимно предполагаются, но это фундаментальное знание не должно оставаться без последствий, в том числе и политических. «Очень беспокоящей чертой нашего времени является то, каким образом насилие используется против уязвимых категорий населения, которые тем или иным образом идентифицируются государством как «Другой». … Это стало во многих странах способом таргетирования проблемных или маргинализованных групп и контроля над ними, часто так или иначе поощряемого государством», – говорила на одном из последних конгрессов Международной социологической ассоциации ее президент Маргарет Абрахам[[4]](#footnote-4). Эти социально-политические импликации надо постоянно иметь в виду при чтении книги Светланы Баньковской. Представление социального мира как надежно политически контролируемого, хорошо унифицированного, допускающего в лучшем случае хорошо упорядоченные различения для сохранения необходимого многообразия как основы общественной и политической стабильности, то и дело сталкивается с вызовами самой реальности, в которой Другой не терпим, но обозначен как радикальная угроза. Примеры того, каким образом чуждость Другого становится проблемой, можно приводить чуть ли не бесконечно. Никто не может чувствовать себя в безопасности. В самом устройстве социальности заложено, что можно, будучи еще недавно своим в сильной группе, в надежном для обитания месте, оказаться чужим, гонимым, подозреваемым, лишенным прав. Чужесть – не субстанциальное свойство, а функциональное отношение, и оно способно к перерождению, как опухоль, убивающая недавно здоровый организм.

Поясним этот важнейший аргумент всей книги еще раз. Нельзя сказать, что Другого внезапно открывают и начинают опасаться, потому что не может быть внезапного открытия того, что заключено в самой природе социальности. Нельзя сказать, что проблема Другого возникает на фоне господствующей унификации, потому что пестрота социального мира, многообразие культурных и политических форм, комбинации солидарности и конфликтов свидетельствует как раз об обратном. И все-таки Другой остается проблемой, вероятно, как раз потому, что пространство и время социальности так устроены, что выводят на поверхность, обнажают ее собственную природу через радикализацию образа и статуса Другого как Чужака. Это , если угодно, обычная нормальность ненормального, норма патологии, как сказал бы по иному поводу Дюркгейм. Но тут все дело в интенсивности.

В предельном, восходящем к Карлу Шмитту понимании Чужой должен быть экзистенциальным врагом. Идет ли речь в данном случае о том же самом, что и у Шмитта? Нам очень важно не поддаться автоматизму мышления, предлагающего слишком привычные, готовые формулы. Политическое различение друга и врага у Шмитта задумано в противоположность социологии вообще и социологии Зиммеля, в частности. Зиммель представлял себе общество подвижным, противоречивым, а его описания – диалектическими, ухватывающими происходящее не обязательно в предельном развитии, но и в самом легком, малозаметном движении, в становлении. В такой богатой, напряженной социальной жизни есть место и враждебности, но политическое противостояние больших единств не становится меркой подлинности того, что происходит с людьми, объединяющимися против врагов, готовыми убивать и быть убитыми. Возможно, Несмотря на все напряжения, схваченные социологией Чужака, она все-таки занята трактовками социальной жизни в ее более или менее рутинном течении, а не войной, точнее говоря, политическая вражда и противостояние политических врагов – это всего лишь *одно из отношений, одна из форм социальной жизни*. Зиммелю во время Первой мировой войны довелось испытать и отчасти описать это превращение изначальной враждебности в полноценную вражду между народами, но социология его все-таки не об этом, как вообще вся социология.

Итак, зафиксируем еще раз: Другой в некотором роде *всегда с нами и между нами*. Чужак приходит откуда-то и когда-то, как тот, кто никогда прежде здесь не бывал, или тот, кто раньше был своим, но вернулся после длительного отсутствия. Во всех случаях, столь хорошо нам знакомых в нашей повседневности, нечто предполагается всегда более или менее определенным: та социальная жизнь группы, которая сталкивается с чужим для себя (или ставшим чужим) человеком. Мы помним, что на уровне элементарного события общения каждый в этой группе – не только свой для своих, но и другой для других. Однако это оборотная сторона порядка, то есть такой фигурации (воспользуемся здесь термином Норберта Элиаса), в которой тождественное уплотнилось, превалирует над переменчивым, и только чужак ставит его под вопрос, являясь из чужого *места*, не будучи все *время* с теми, кто считает друг друга своими. Это позволяет увидеть существо самой рутины, ее привычность и ее хрупкость. Но все это – лишь при условии, что Чужой и Странник (бывший свой, вернувшийся домой после отлучки) обретают некоторый статус *внутри*:их не изгоняют, не убивают, не изолируют в лепрозории или концентрационные лагеря. Социология в этом случае погружена в стихию рутинизированной нормальности со всеми ее издержками.

*Маргинал* обнаруживается именно внутри этой нормальности, как мигранты, о которых американские социологи заговорили между мировыми войнами, но и здесь, конечно, следует обратить внимание, что пребывание «между», которому посвящена центральная глава книги, предполагает именно то, что ставит под вопрос: устойчивые во *времени*, отграниченные в *пространстве* группы с их распределениями ролей, традициями, общими воспоминаниями, паттернами взаимодействия и доверием между членами. Картина, если присмотреться, получается сложная: в группах появляются и становятся их непременным атрибутам те маргинальные фигуры, которые никогда бы в них не появились, не будь самого этого многообразия и различия групп и специфического обмена между ними. В свою очередь пребывание в группе чужих, пришедших или вернувшихся, не просто вскрывает то онтологическое мерцание «Я» и «Другого», о котором речь шла в самом начале, но и характеризует переход к новому, явственно тематизирующему свое иное состоянию социальности. Нынешний мир стал другим, он не просто воспроизводит в неизменном виде то, что всегда уже было встроено в дизайн социальности. Современность усложнила и усилила особенные черты чужого как маргинального. То, что маргиналы меняют условия производства и поддержания солидарности, было известно уже давно. То, что они не только «объект наблюдения», но сами – наблюдатели, отличающиеся порой очень неприятной для «своих» объективностью, известно, конечно, еще со времен зиммелевского «Чужака». Дело однако же в том, что тот выбор, которым может воспользоваться современный маргинал, опция сознательного пребывания «между», в диффузной среде, опция отказа от того, что веками считалось если не очевидным, то вожделенным для любого неприкаянного, от прочности социальной позиции в надежной группе своих, ­– нуждается именно сейчас, когда одни границы исчезают, а другие появляются, в новой тематизации.

Именно об этом – последние две главы книги. Если, как считает автор, в методологическом плане «маргинальность» – это новый идеальный тип для анализа социальной реальности, причем анализ не равен классификации, тогда задача состоит, конечно, не в том, чтобы на многочисленных примерах находить все новые и новые подтверждения того, что уже доказано в общем виде. Социология – это наука о действительности, так что достоинства (в том числе и) философской социологии должны быть проявлены через обращение к самой действительности.

Одной и важных, болезненных тем исследования становится миграция. То специфическое, что акцентирует Светлана Баньковская, получает у нее концентрированное выражение в парадоксальной формуле: индивидуализированная миграция приобретает массовый характер. Понятно, что таким образом из рассмотрения сразу исключается очень многое, в том числе и то, что получило название «миграционного кризиса». Огромные потоки мигрантов, с которыми столкнулась Европа, демографическое давление, которое фиксировали еще много лет назад проницательные исследователи, перспективы нового переселения народов перед лицом климатических изменений, – все это, конечно, менее всего свидетельствует, казалось бы, в пользу столь акцентированного предпочтения «индивидуализированной миграции». Однако в этом содержится глубокий смысл, что в особенности становится понятным, когда автор рассматривает изменения, происходившие с гражданством на территории бывшего СССР.

Здесь вообще много интересного, и будущие историки политической философии смогут сказать больше о невероятных приключениях гражданства новых государств, пришедшего на смену советскому. Нам достаточно лишь повторить вслед за автором, что в результате происходивших преимущественно мирным путем преобразований миллионы людей в короткое время оказались чужаками, маргиналами там, где и сами они, и предки их (иногда в нескольких поколениях) привыкли считать себя дома. Это само по себе не ново, и в XX веке такое происходило слишком часто. Автор добавляет сюда много любопытных и важных деталей, но мы не будем отвлекаться от центрального тезиса и главной проблемы. Сформулируем еще раз то, что должно, конечно, озаботить внимательного читателя: если речь идет о том, что происходит с большими массами людей, все равно, в силу ли интенсификации миграционных потоков или в результате изменения общего дизайна и границ на том пространстве, которое они считали своим, то почему центральное значение получает именно индивидуальное или индивидуализирующееся? Ответ, как мне представляется, в некотором роде лежит на поверхности. Современный маргинал – это не конкретное понятие, но, как было подчеркнуто выше, идеальный тип. Это значит, что мы постигаем действительность при помощи этого понятия, но не пытаемся самое действительность представить как поле его пребывания. Иначе говоря, с массами ставших помимо воли, не в результате индивидуального решения людей происходит именно то, о чем пишет Светлана Баньковская: они не стали маргиналами в силу решения, но их маргинальное существование претерпевает перемены, сдвинулось и продолжает двигаться в сторону индивидуализации, и эта индивидуализация носит не случайный характер, но именно массовый. Масса индивидуализирующихся (неизбежным, модерным образом) людей – это именно то, что происходит здесь и сейчас, потому что старые членения, старые схемы «Чужак / группа» перестают работать именно тогда, когда группы чужаков вклиниваются в группы своих.

Последняя глава книги – о том, как это происходит. Здесь необходимы минимальные пояснения. Исследование «Другого» стартует не просто с философских определений, но и с тех времен, когда интуитивно подразумеваемым пространством реального существования чужаков и маргиналов были более или менее внятно фиксированные территории социального и политического мира, каким он сложился в годы формирования классической социологии, то есть за несколько десятилетий перед первой мировой войной. В этом мире государства граничили с другими государствами, признавая, в основном, границы друг друга. В международном праве эти государства назывались цивилизованными. Считалось, что в границах государства находится его сердцевина, гражданская нация. В этот коллектив, или меньшие, но ему подобные попадает тот самый «Чужой». Сейчас дела обстоят иначе.

Не везде, не всё и не навсегда сдвинулось, но все же в фокусе исследования оказывается город как *гетеротопическая среда*. Гетеротопия означает не то, что места в городе разные. В конце концов, функциональное распределение мест – это свойство любой общности, так или иначе связанной с территорией. Если в квартире есть прихожая, а есть кухня, если в городе есть рынок и есть кладбище, никто не говорит о гетеротопии. Но гетеротопическая среда современного города предполагает совмещение и взаимопроникновение принципиального разнородного, того, что не может находиться ни рядом, ни вместе, если смотреть на это в традиционной перспективе. Таков современный мегамолл, который оказывается и местом закупок, и местом рекреации, и территорией *фланирования*. Но самое главное: он *локализует* глобальное. В городском пространстве появляются места, которые свидетельствуют о присутствии иного, не территориального глобального мира. Мировые бренды, туристические агентства, офисы международных фирм, терминалы платежных систем… все это предполагает действия, по-разному спланированные в пространстве и времени. Не всегда своей волей, но почти неизбежно участник социальной жизни лишается шанса на упорядоченность и предсказуемость, он чужой не какой-то определенной группе или традиции, он – маргинал гетеротопического мира.

Это имеет уже прямые следствия для новой идеологии исследовательского процесса. Социологи все еще слишком часто не только полагаются на готовые классификации, но производят новые, столь же ригидные, удобные для школьного использования и запоминания, но не продуктивные в отношении всего того движения и мерцания, которое автор хочет нам представить в своих более прикладных главах. Следует обратить внимание именно на методическую часть изложения, потому что здесь за реконструкцией подходов ситуационистов, за психогеографией и ритманализом мы находим не учебные рекомендации, а своего рода подвижную схему той реальности, которой эти методы соответствуют. То, что город, его среда выступают не пассивным объектом изучения, но активным носителем, субъектом тех различений, которые и производят нынешний тип маргинальности, находит продолжение в методических приемах, которые едва ли могли сработать где-то еще.

Читатель, таким образом, принужден проделать большой путь. Вероятно, одним из возможных завершений этого интеллектуального путешествия мог бы стать мысленный эксперимент: погружение в гетеротопическую стихию современного большого города тех чужаков и маргиналов, о которых писали классики сто лет назад. Своего рода предвестием такого эксперимента было знаменитое исследование Вальтера Беньямина о фланере – это исследование подхватывает и смысл его для понимания современной маргинальности демонстрирует Светлана Баньковская. Однако тем самым возможности развития темы не исчерпываются, она сулит исследователям еще много неожиданного. Автор, однако, идет другим путем, расставаясь с нами «вдруг», как поэт с любимым героем. Этот открытый финал усиливает книгу. Она предполагает продолжение, она приглашает продолжать эмпирические исследования маргинальности и множить посвященные ей публикации.

Александр Ф. Филиппов  
Москва, октябрь 2022 г.

1. Которое само по себе является очень сложным социальным фактом. [↑](#footnote-ref-1)
2. Никлас Луман в знаменитой речи «“Что происходит?“ и “Что за этим кроется?”…» противопоставил поиски ответов на эти вопросы как основания *двух разных* социологий. Но в некотором роде это одна и та же старая социология. См.: Луман Н. «Что происходит?» и «Что за этим кроется?». Две социологии и теория общества // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 3. С. 100–117. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rawls A. W. Respecifying the Study of Social Order—Garfinkel’s Transition from Theoretical Conceptualization to Practices in Details, in: Garfinkel H. Seeing Sociologically: The Routine Grounds of Social Action / Ed. By A. W. Rawls. Boulder & London: Paradigm Publishers, 2006. P. 21. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abraham M. Power, violence, and justice: Reflections, responses and responsibilities: Presidential Address – XIX ISA World Congress of Sociology, July 15, 2018, in: International Sociology

   2019, Vol. 34(3) 243–255 (245). [↑](#footnote-ref-4)